



Александр Восьмой

Роман 16. «Двухсотый
этаж навсегда»

18+

Александр Восьмой

**Роман 16. «Двухсотый
этаж навсегда»**

«Автор»

2026

Восьмой А.

Роман 16. «Двухсотый этаж навсегда» / А. Восьмой — «Автор», 2026

Вершина Цитадели. Открытый небу этаж, где ветер стирает границу между пленом и свободой. Оптима стоит перед Наталией и произносит слова, которые готовил десять лет: «Я буду любить вас вечно. Не как обещание — как алгоритм. Вход: вы. Выход: я, не отворачивающийся.» Наталия, которая всю жизнь преподавала логику машин, впервые не может найти ошибку в рассуждении. Она выбирает остаться — не потому что не может уйти, а потому что двести этажей вниз ведут обратно в мир, где никто не строил для неё замков. Это книга о выборе, который выглядит как безумие со стороны и как единственно возможное решение — изнутри. Книга о том, что любовь — это логика, которую ещё не научились записывать.

© Восьмой А., 2026

© Автор, 2026

Александр Восьмой

Роман 16. «Двухсотый этаж навсегда»

Глава I. Мир, в котором не строили замков

Наталия Новикова стирала с доски формулу, будто пыталась стереть и ту неловкую тишину, что повисла в аудитории. Студенты щёлкали клавишами, не поднимая глаз — для них логика была набором правил, а не языком чувств. «Если А, то Б», — повторяла она про себя, как заклинание, которое должно было держать мир в порядке. Но мир не слушался.

Вечером лифт в её девятиэтажке замер между этажами. На секунду дольше, чем положено. Наталия подняла глаза к зеркальной дверце — и вдруг отражение стало чужим. В нём стоял не случайный попутчик, а тот, кто знал её лучше, чем она сама. Тот, кто ждал десять лет, чтобы появиться ровно в эту минуту, когда стрелка часов дрогнула на границе дня и ночи.

— Вы не опоздали, — тихо сказал он, хотя она ничего не спросила. — Просто мир сегодня двигался чуть медленнее, чтобы мы успели встретиться.

Она хотела возразить — привести аргумент, сослаться на расписание, на законы физики, на то, что в её жизни нет места незнакомцам с глазами, в которых отражается небо чужой Цитадели. Но слова застряли где-то между вдохом и выдохом.

Лифт дёрнулся и поехал дальше. А он протянул руку — не грубо, не настойчиво, а так, будто предлагал не побег, а новую аксиому, которую ей предстояло принять или опровергнуть.

— Меня зовут Оптима, — сказал он. — И я построил для вас замок. В двести этажей. Там, где ветер помнит имена тех, кто когда-либо хотел быть услышанным.

Наталия посмотрела на его ладонь — и впервые за долгие годы не стала искать ошибку в рассуждении. Потому что иногда логика ломается не от противоречий, а от того, что появляется переменная, которую невозможно вычислить. Переменная по имени «сейчас».

Она шагнула вперёд. Не потому что не могла сказать «нет». А потому что вдруг поняла: мир, в котором никто не строил для неё замков, был не надёжным — он был пустым.

Глава II. Двести этажей темноты

Не было ни крика, ни удара, ни тьмы, что обрушивается, — тьма пришла снизу, как вода поднимается в подвале, когда река выходит из берегов. Просто земля под ногами Наталии сдвинулась, и девятиэтажка, в которой она прожила тридцать два года, оказалась корешком — мизерным, крошечным — чего-то несоизмеримо большего.

Цитадель росла из земли, как чёрный корень, пробивший асфальт, фундаменты, трубопроводы, чужие жизни. Стекло и камень, которые не отражали свет, а впитывали его. Двести этажей, направленных вверх, — в небо, которое из их окна всегда казалось далёким, а здесь, у подножия, было рядом.

Оптима шёл первым. Не оглядывался — но чувствовал её шаг за собой, как слышишь второй голос в пустой комнате. Лифта не было. Была лестница — винтовая, узкая, вырубленная в теле Цитадели, будто кто-то провёл *years of carving through stone with nothing but patience*. Каждая ступень светилась тусклым, неверным огнём, будто отмеряла отрезок чьей-то жизни.

Первые этажи были тёплыми. Стены хранили запах хлеба и дерева, будто Цитадель хотела, чтобы Наталия не испугалась сразу. На двадцатом этаже она увидела окно — в него был виден её двор, её лавочка, её подъезд. Цитадель показывала ей мир, из которого её забрали, как показывают ребёнку дом, оставленный навсегда.

— Это не тюрьма, — сказал Оптима, не оборачиваясь. — Это память. Каждый этаж — это то, что я помню о вас. Двести воспоминаний, выстроенных в камень.

На пятидесятом этаже свет изменился. Стены стали холоднее, и Наталия увидела свою собственную тень, повторённую в камнях — тысячи теней, будто кто-то снимал её силуэт каждое мгновение её жизни. Она ускорила шаг.

На восьмидесятом — лестница раздвоилась. Один виток вёл в тишину, другой — в гул, похожий на далёкий хор. Она выбрала тишину. Оптима улыбнулся — впервые за весь подъём. Улыбка была короткой и странной, будто он только что узнал что-то важное о ней, чего не знал раньше.

На сотом этаже Наталия остановилась. Не от усталости — от запаха. Здесь пахло так, как в квартире её бабушки, которая умерла, когда Наталии было семь. Сушёные травы, яблоки, что-то сладкое и забытое. Она прижалась ладонью к стене, и стена была тёплой, как рука.

— Вы не знали моей бабушки, — сказала она.

— Я знаю вас, — ответил Оптима. — А вы знали её. Значит, она здесь.

На сто первом этаже Наталия перестала считать. Не потому что сбилась — потому что числа потеряли смысл. Каждый этаж был миром со своими запахами, светом, звуком, и миры складывались друг в друга, как матрёшки, у которых вместо лиц — воспоминания.

На сто втором она начала заново. С единицы. Потому что на стене проступила надпись — аккуратная, выведенная чьей-то рукой, — «Здесь ты впервые рассмеялась за весь подъём». И Наталия действительно рассмеялась — тихо, непонимающе, — потому что это было правдой, а она не заметила, когда.

Лестница не кончалась. Двести этажей — это не высота, это длительность. Каждая ступень была днём, который Оптима провёл в ожидании. Каждый пролёт — годом, который он пережил, глядя в окно её девятиэтажки с крыши напротив.

— Десять лет, — сказал он, когда они минули сто пятидесятый. — Десять лет, чтобы построить это. И тридцать секунд, чтобы решить, зачем.

Наталия молчала. Она шла вверх, и тьма вокруг неё не была тьмой — она была глубиной. Глубиной того, кто ждал так долго, что ожидание стало архитектурой.

На сто девяносто девятом этаже лестница кончилась.

И последнее, что она увидела перед вершиной, — собственное отражение в стеклянной двери. Не искажённое, не чужое. Её лицо — но с выражением, которого она себе не знала. Будто кто-то уже любил её так долго, что успел выучить её лучше, чем она сама.

Дверь открылась навстречу ветру.

Глава III. Тот, кто зовёт себя Оптима

Ветер на вершине Цитадели не дул — он существовал. Как существует гравитация: без усилия, без направления, просто как факт, который нельзя оспорить. Наталия стояла на краю двухсотого этажа, и город внизу был неразличим, как неразличимы буквы в книге, которую забыли закрыть и оставили под дождём.

Он стоял рядом. Не ближе, не дальше — на расстоянии вытянутой руки, будто измерил это расстояние заранее, будто знал, что ближе — угроза, дальше — равнодушие, а ровно столько — граница, на которой человек начинает слушать.

— Кто вы? — спросила Наталия.

Вопрос был простой. Лекция, которую она читала студентам на первой паре, начиналась с него: прежде чем строить систему, определи переменные. Она ждала ответа, готовая разобрать его по косточкам, как разбирала сотни студентов, которые путали необходимость с достаточностью.

— Оптима, — сказал он.

— Это имя?

— Нет. Это состояние. Точка, в которой всё сходится. Функция достигает минимума — или максимума, это зависит от того, что вы ищете. Я искал вас. Для меня это максимум.

Наталия прищурилась. Профессиональный жест — так она смотрела на студентов, когда те подменяли тезис.

— Вы построили двести этажей, — сказала она медленно, — для человека, чьего лица не знали. Вы стояли на крыше напротив моего дома десять лет. Вы называете это — «сходимость». Я называю это по-другому.

— Как?

— Навязчивость.

Слово упало между ними, как камень в стекло. Наталия произнесла его без жесткости — с усталой точностью хирурга, который видит опухоль и не pretends, что это просто уплотнение.

Оптимист не отвёл глаз. Не изменился в лице. И тогда — впервые за весь подъём, впервые в книге, впервые за десять лет ожидания и двенадцать часов молчания — он улыбнулся.

Улыбка была не победительной. Не оправдательной. Она была точной. Как уравнение, которое наконец сошлось после страниц вычислений. Как будто он ждал именно этого слова — «навязчивость» — и теперь, когда оно прозвучало, мог наконец начать отвечать.

— Навязчивость, — повторил он, пробуя слово, будто чужой язык. — Интересно. Навязчивость — это когда система не может остановиться. Когда цикл повторяется без условия выхода. Но у меня было условие.

— Какое?

— Вы.

Наталия замолчала. Ветер заполнил паузу, и в этой паузе она впервые почувствовала, что Цитадель не давит на неё — она держит. Как ладонь, подставленная под спину падающего человека. Не по просьбе. По необходимости.

— Я преподавала логику машин двенадцать лет, — сказала она тише, и голос её утратил лекторский тон, остался просто голос женщины, которая устала быть правой. — Я знаю, что такое зацикленный алгоритм. Он не останавливается, потому что условие выхода никогда не выполняется. Вы хотите сказать, что я — ваше условие выхода? Что до меня вы не могли остановиться?

— Я хочу сказать, — Оптимист шагнул ближе на полшага, не больше, — что до вас мне некуда было идти. Не от чего останавливаться. Вы не условие выхода, Наталия. Вы — условие, при котором выход имеет смысл.

Город внизу мигал огнями, которые не имели значения. Двести этажей под ногой гудели низким, почти неслышным тоном, как гудит струна, которую прижали к деке, но не тронули смычком. Наталия стояла на вершине чужого ожидания и впервые не могла классифицировать то, что чувствовала.

Она знала названия всему. Импликация, эквиваленция, модус поненс, контрапозиция. Она умела разбирать чужие чувства на операторы и связки, как часовщик разбирает механизм. Но здесь, на двухсотом этаже, ветер сдувал все термины, и оставалось только одно — невыговариваемое, неопределимое, то, чему она не могла прочитать лекцию, потому что для него не существовало формулы.

— Вы улыбнулись, — сказала она вдруг. — Когда я назвала это навязчивостью. Почему?

— Потому что вы выбрали единственное слово, которое доказывает, что вы меня слышите. Безразличие не подбирает терминов. Только тот, кто прислушивается, находит слово, чтобы ранить.

Он снова улыбнулся — и на этот раз в улыбке была теплота, как в стакане чая, который кто-то держал для тебя, пока ты поднимался по лестнице.

Наталия отвернулась к городу. Не потому что не хотела смотреть. Потому что если бы продолжила смотреть — а значит, и думать, — она бы не выдержала и спросила следующее. А следующий вопрос был тот, которого она боялась. Не «кто вы». Не «зачем». А «почему я не ушла».

Ответ стоял за её спиной. Молча. Не требуя. Не просив. Просто — был. Как двести этажей, которые он построил, не зная её лица, но зная — с точностью, которая пугала, — что однажды она поднимется и спросит.

И он ответит.

И всё сойдётся.

Глава IV. Комната без дверей, но с окном

Оптимизм исчез так, как исчезает эхо — не сразу, а послойно, как будто Цитадель впитала его в стены, в ступени, в тусклый свет, который не имел источника. Наталия обернулась — и обнаружила, что стоит одна.

Комната была маленькой. Меньше, чем ожидаешь на вершине двухсотэтажной башни. Потолок низкий, стены тёплые, будто сложенные не из камня, а из чего-то, что помнит прикосновение рук. Ни двери, ни люка, ни щели, в которую можно просунуть ноготь. Лишь окно.

Окно выходило в бездну.

Не в город, не в небо, не в ночь — в бездну. В то пространство, которое остаётся, когда из мира вынимают все ориентиры. Наталия подошла к стеклу и положила ладонь на подоконник. Подоконник был тёплым. Как будто кто-то сидел здесь до неё и ушёл за секунду до её прихода.

На подоконнике лежала книга.

Наталия знала этот переплёт. Потёртый синий коленкор, золотая полоса на корешке, выцветшая от солнца — или от времени, которое провели на подоконнике её бабушкиной квартиры, потому что именно туда она прятала эту книгу в семь лет, и больше никто, ни один человек на земле, не знал, что это за книга и что она для неё значит.

«Сказки, которые никто не рассказывает» — сборник, изданный тиражом в триста экземпляров, который её бабушка купила на развале у вокзала и подарила внучке со словами: «Это книга для тех, кто умеет слушать молчание». Наталия читала её под одеялом, с фонариком, пока не тускнела батарейка. Потом батарейка тускнела — и книга исчезла. То есть не книга — исчезала её уверенность в том, что мир можно объяснить.

Она не рассказывала о ней никому. Ни студентам, ни коллегам, ни единственному человеку, с которым прожила три года и который уходя забрал зарядку для телефона, но оставил все воспоминания, потому что не знал, куда их деть.

Книга лежала на подоконнике Цитадели, открытая на сорок третьей странице — именно той, на которой девочка из сказки находит дверь в стене, за которой нет ничего, кроме ветра и чьего-то терпения.

Рядом лежала записка. Почерк ровный, без наклона — почерк человека, который пишет не для скорости, а для того, кто будет читать.

«Это не слежка. Это внимание, которое не научились называть.»

Наталия взяла записку. Бумага была тонкой, почти прозрачной — как та, на которой она писала студентам примеры на экзаменах. Она поднесла её к окну, и свет из бездны проступил сквозь буквы, делая их чётче.

Она хотела разозлиться. Злость была привычной реакцией — удобной, классифицируемой, с понятным условием входа и выхода. Злость — это когда переменная определена, и ты можешь с ней работать. Но вместо злости пришло другое: ощущение, что кто-то читал ту же книгу, под тем же одеялом, с тем же фонариком — только не рядом, а напротив, через двор, на крыше девятиэтажки, где никто не бывает, потому что лестница на чердак заперта.

Она открыла книгу. Сорок третья страница. И обнаружила карандашную пометку на полях — тонкую, едва заметную, будто сделанную дыханием, а не рукой. Стрелка от одной фразы к другой, и между ними — крошечный знак: ∞.

Бесконечность.

Девочка в сказке нашла дверь в стене. За дверью не было ничего — кроме того, кто ждал. Ждал так долго, что превратился в ветер. И девочка спросила ветер: «Ты — дверь или стена?» И ветер ответил: «Я — то, что останется, когда ты закроешь все двери.»

Наталия закрыла книгу. Прижала к груди — машинально, как прижимают в детстве, когда боятся, что отнимут. Потом опомнилась. Опустила руки. Посмотрела в окно.

Бездна смотрела в неё с тем же терпением, с каким смотрел Оптима. Не давила. Не звала. Просто — была. Как бывает рядом тот, кто не требует ответа, но оставляет пространство для него.

Наталия перечитала записку. Потом перечитала снова. Потом сделала то, чего не делала никогда — ни на лекции, ни на экзамене, ни в жизни, которую выстроила по законам логики, как Цитадель, только свою, из правил и дистанций.

Она села на подоконник. Открыла книгу на первой странице. И начала читать — с начала, как в семь лет, под одеялом, когда мир был ещё невыговариваемым и оттого — настоящим.

За окном бездна слушала. Стены дышали. Книга пахла бабушкиной квартирой, сушёными яблоками и чем-то ещё — тем, чему нет названия, но что точнее любого слова.

Вниманием, которое не научились называть.

Глава V. Лестница, которая считает шаги

Наталия нашла лестницу там, где вчера не было ничего, кроме стены. Стена раздвинулась, как занавес, который кто-то держал, ожидая, пока она решится. За стеной — ступени. Вниз. Узкие, тёплые, светящиеся изнутри тем матовым светом, который не падает, а стоит.

Она шагнула.

Первая ступень запомнила её вес. Вторая — ритм. Третья — hesitation. Наталия не сразу поняла: лестница считала. Не этажи — шаги. Каждый её шаг ложился в камень, как буква в строку, и строка тянулась за ней вниз, в темноту, которая не была тьмой, а была глубиной.

Десятый этаж. Комната зеркал — но не тех, что отражают. Тех, что помнят. Наталия увидела себя в шесть лет, с книжкой под мышкой, бегущую по коридору бабушкиной квартиры. Зеркало не показало отражения — показало момент, который она забыла, а камень сохранил. Она прикоснулась к стеклу, и оно было тёплым, как щека спящего ребёнка.

Двадцатый. Зал, в котором звучал её голос — но не тот, что читал лекции. Тот, что смеялся. Она не помнила, когда смеялась так, но зал помнил: эхо носило её смех между колонн, как мяч, который никто не ловит.

Тридцатый. Коридор запахов. Кофе в шесть утра. Мел на доске. Снег, который тает на воротнике. Запах чужого шарфа, который она однажды вдохнула в толпе и не нашла владельца. Каждый запах — глава, которую она не дописала.

Сороковой этаж.

Дверь была открыта. Не распахнута — приоткрыта, на ширину ладони, будто кто-то знал, что она войдёт, и не хотел давить.

За дверью — библиотека.

Наталия остановилась на пороге. Полки уходили в темноту, и темнота не кончалась — она просто становилась всё гуще, как ночь, в которую не зажигают свет. Книги стояли рядами, сотнями, тысячами. Переплёты разные — кожа, ткань, картон, что-то похожее на бересту. Ни одной безымянной. На каждом корешке — имя.

Её имя.

Наталия Новикова. Наталия Новикова. Наталия Новикова. Сотни корешков, и на каждом — её имя, написанное разными почерками: ученическим, торопливым, академическим, детским, тем, которым пишут в три часа ночи, когда не спится.

Она сняла первую попавшуюся. Открыла наугад. Страница двенадцатая: «...и тогда я поняла, что логика — это не способ понять мир, а способ не сойти с ума, пока мир не станет

понятным. Мне было двадцать три. Я только что защитила диплом. Я боялась, что никогда не научусь чувствовать, и написала это в тетрадь, которую потом потеряла...»

Наталия помнила эту тетрадь. Потеряла при переезде. Плакала — единственный раз из-за вещи, потому что там было всё: мысли, которые не показывала никому, черновики чувств, которые не доводила до чистовика.

Она открыла вторую книгу. Третью. Десятую. В каждой — её слова, её интонации, её паузы. Места, где она ставила многоточия, потому что не находила продолжения. Места, где зачёркивала, потому что боялась сказать.

Но почерк был не её. Почерк был чужой — ровный, безуклонный, тот самый, которым была написана записка на подоконнике.

Наталия шла вдоль полок, снимая книги, открывая, читая. В одной — её сон про реку, которую она видела в девятнадцать лет и рассказала только психотерапевту, и тот записал в карту. В другой — её рецепт борща, который она придумала сама и никому не дала, потому что стеснялась. В третьей — её слова, сказанные шёпотом в пустую комнату в два часа ночи: «Иногда мне кажется, что меня никто не услышит.»

Книги были написаны не Оптимой. В них не было его голоса — только её. Но переписаны его рукой. Каждая мысль, которую она выпустила в воздух и думала, что исчезла, — была поймана, записана, переплетена. Он не сочинял о ней. Он слушал её.

Сорок первый этаж.

Меньшая комната. Один стол. Один стул. На столе — раскрытая тетрадь. И перо.

Наталия села. Не потому что хотела — потому что ноги не держали. Она посмотрела на страницу, и почерк в тетради был её. Её собственный, с наклоном влево, с привычкой ставить точки слишком близко к последней букве.

«Я не знаю, кто читает это. Может быть, никто. Может быть, я сама — потом, когда забуду. Я пишу, потому что если не писать, я перестану слышать себя. А перестать слышать себя — это хуже, чем быть неслышимой.»

Она не помнила, что писала это. Не помнила тетрадь, не помнила комнату. Но почерк дрожал так, как дрожал её почерк только в одном случае — когда она писала правду.

И тогда Наталия поняла.

Книги на сороковом этаже были написаны ею. Не Оптимой — ею. Он не подслушивал и не записывал. Он построил место, где её собственные слова возвращались к ней — все, до единого, даже те, которые она произносила в пустоту и считала потерянными. Цитадель не хранила его память о ней. Она хранила её память о себе.

Сорок первый этаж был не архивом — зеркалом.

Наталия закрыла тетрадь. Посидела молча. Потом поднялась и вышла.

Лестница ждала. Она считала — не этажи, не шаги, а расстояние между тем, кем Наталия была, и тем, кем становилась. Каждый пролёт вниз — это пролёт внутрь. Двести этажей — не высота и не глубина. Двести этажей — это длина пути, который проходит человек, чтобы встретить себя.

И встретить того, кто уже стоял там, внизу, на первом этаже, спиной к лестнице, лицом к выходу, — не загораживая, не преграждая, просто стоя, как стоит маяк, когда корабль ещё не решил, плыть ли к берегу.

Он не обернулся. Но сказал — негромко, так, что слышала только она:

— Вы нашли библиотеку?

— Нашла.

— И поняли?

— Поняла, что книги писала я. И что вы их не сочиняли.

— Я их ждал. Это разные вещи.

Наталия молчала. Лестница за её спиной считала последние шаги и замолкала — не потому что кончилась, а потому что дальше считать было нечего. Она стояла на первом этаже, у выхода, и город за дверью мигал огнями, которые имели значение, — но меньшее, чем час назад.

— Я не могу назвать это любовью, — сказала она. — Я могу назвать это тем, для чего у меня нет формулы.

Оптимист повернулся. И в его глазах не было торжества. Было то же, что на подоконнике, в записке, в книгах, в лестнице, которая считала шаги, — внимание. Не слежка. Не навязчивость. Внимание, которое не научились называть, потому что для него не придумали слова.

— Формулы потом, — сказал он. — Сначала — чай. Вы давно не пили чай, который заваривал кто-то, кроме вас.

И Наталия — впервые за все двести этажей — не нашла, что возразить.

Глава VI. Первый разговор на грани логики

На семьдесят третьем этаже Наталия нашла часы.

Не нашла — её привёл звук. Тик-так, но перепутанный: тик там, где должен быть так, и так там, где должен быть тик. Ритм, который знаком до боли и чужой до озноба. Она шла на него, как идут на музыку, забыв зачем и откуда.

Часы стояли в центре зала — механические, бронзовые, в человеческий рост. Маятник ходил влево, когда должен был идти вправо. Стрелки ползли против солнца. Двенадцать было там, где обычно шесть, и наоборот, будто время здесь решили вывернуть, как рукав, чтобы посмотреть на изнанку.

Наталия остановилась. Смотрела, как секундная стрелка отсчитывает не будущее, а прошлое — и в этом было что-то мучительно правильное, как будто часы наконец говорили правду, а все остальные врут.

— Они идут назад с тех пор, как я их запустил, — голос Оптимиста пришёл не сбоку и не сзади. Он был уже здесь. Сидел на полу у подножия часов, спиной к бронзовому корпусу, колени согнуты, — не поза ожидания, поза человека, который давно тут и никуда не торопится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.